



## Часть первая

# ОПУСТОШЕНИЕ В УЕДИНЕНИИ

### 1

Деньки, те ленивые денечки, когда сидел я, бывало, или ложился и лежал на Пике Опустошения<sup>1</sup>, иногда на альпийской травке, вокруг повсюду сотни миль заснеженных скал, гора Хозомин высится к северу от меня, огромный снежный Джек к югу, зачарованный вид озера внизу к западу, и снежный горб Бейкер за ним, а к востоку изборожденные хребтами и ущельями чудовищности громоздятся к Каскадному Хребту, и после того первого раза вдруг осознав «Это я вот кто изменился и все это совершил и приходил и уходил и хлюздил и болел и радовался и вопил, а вовсе не Пустота<sup>2</sup>» и поэтому всякий раз думая о пустоте смотрел на Хозомин (поскольку и стул и постель и вся луговина обращены к северу) пока не понял «Хозомин и есть Пустота — по меньшей мере Хозомин есть пустота для моих глаз» — Совершенно нагие камни, скальные пики и тысячи футов в высоту выпирающие из горбомускулов еще тысячу футов высотой выпирающих из гигантских лесистых плеч, и зеленая ощети-нившаяся елками змея моего собственного (Голода) хребта извивающаяся к нему, к его ужасающим скальным куполам из голубой дымки, и «облака надежды» лениво раскинувшись в Канаде еще дальше с их лицами из мельчайших капелек и с параллельными комьями и осками и ухмылками и барашковыми провалами и кучерявыми облачками рыл и зевами трещин говорящими «Хой! привет земля!» — высочайшие неустойчивейшие пиковые ужасности Хозомина сложенные из черной скалы и лишь когда налетает буря

---

\* В книге сохранено авторское оформление текста.

я их не вижу а они просто-напросто возвращают буре зуб за зуб непоколебимую угрюмость перед тучевзрывающейся дымкой – Хозомин что не треснет как такелаж хижины на ветрах, которая если посмотреть вверх тормашками (когда я делаю стойку на голове во дворе) так просто висящий пузырьрек в неограниченном океане пространства —

Хозомин, Хозомин, я не видал прекраснее вершин, как тигр иногда с полосами, омытыми солнцем ущельями и тенями пропастей какие корчатся линиями в Ярком Свете Дня, вертикальными бороздами и буграми и Буу! расселинами, бум, отвесная величественная Благоразумная гора, никто про нее и не слышал, а она всего лишь 8000 футов в высоту, но какой кошмар, когда я впервые увидел эту пустоту в самую первую ночь на Пике Опустошения, когда проснулся от глубоких туманов в звездной ночи и внезапно надо мной возвысился Хозомин со своими двумя острыми, черный у меня в самом окне – Пустота, всякий раз когда я думаю о Пустоте вижу Хозомин и понимаю — Больше 70 дней пришлось мне на него пялиться.

## 2

Да, ибо я думал, в июне, пока стопарил сюда в долину Скаджита на северо-западе Вашингтона к себе на пожарную вахту: «Вот доберусь до вершины Пика Опустошения и все на мулах уедут обратно и я останусь один тогда-то и встречу лицом к лицу с Богом или Татхагатой<sup>3</sup> и узнаю раз и навсегда какво значение всего этого существования и страданья и метанья взад и вперед понапрасну» но вместо этого встретился лицом к лицу с самим собой, никакого бухла, никаких наркотиков, ни единого шанса прикинуться шлангом а лишь лицом к лицу с тем же Ненавистным Стариной Дулуозом-Мною и сколько же раз я думал что умру, издохну от скуки или прыгну с горы, но дни, нет часы, тянулись все дальше и не хватало мне мужества для такого прыжка, приходилось *ждать* чтобы неизбежно увидеть лицо реальнос-

ти — и вот наконец он наступает тот день 8 августа и я расхаживаю по своему высокогорному дворику по небольшой хорошо утоптанной тропке какую сам проложил, в пыли и в дожде, многими ночами, со своей масляной лампой прикрученной низко-низко в хижине с окнами на все четыре стороны и островерхой крышей пагоды и стержнем громоотвода, наконец ко мне приходит, после даже слез, и скрежета зубовного, и убийства мыши и покушения на убийство еще одной, чего я никогда в жизни не делал (не убивал животных даже грызунов), ко мне приходит такими словами: Пустоту не потревожат никакие взлеты и падения, боже мой, взгляни на Хозомин, в тревоге ли он, в слезах ли? Склоняется ли перед бурями рычит ли когда светит солнце или вздыхает в дреме позднего дня? Улыбается? Не рожден ли он из завихрений безумного мозга и восстаний ливневого пламени а теперь он Хозомин и ничего больше? С чего бы мне выбирать и быть горьким или сладким, он же ничего этого не делает? — Почему не могу я быть как Хозомин и О Банальность, О одряхлевшая древняя банальность буржуазного разума «принимай жизнь такой какой она приходит» — Это тот биограф-алкаш, У. Э. Вудворд, сказал: «В жизни ничего нет кроме просто житья ее» — Но О Господи как же мне скучно! А Хозомину скучно? И мне осточертели слова и объяснения. А Хозомину?

Аврора Бореалис\*  
над Хозомином —  
Пустота неподвижнее

— Даже Хозомин растрескается и развалится, ничто не вечно, оно лишь поживает-в-том-чем-все-является, проездом, вот что происходит, к чему задавать вопросы рвать на себе волосы или рыдать, сбрендивший бредил лиловый Лир на этих вересковых болотах горестей он лишь скрежет зубами старый дуралей с крылатыми бакенбардами

---

\* От *лат.* северное сияние.

постоянно помыкаемый другим дурнем — быть и не быть, вот что есть мы — Участвует ли Пустота хоть как-то в жизни и смерти? бывают у нее похороны? или торттики на день рожденья? почему я не могу быть как Пустота, неистощимо плодородным, за пределами безмятежности, даже за пределами радости, просто Старина Джек (и даже не он), и вести свою жизнь начиная с этого момента (хоть ветры и сквозят мне по трахее), этот неухватимый образ в хрустальном шаре не Пустота, Пустота есть сам хрустальный шар и все мои горести Писание Ланкаватары<sup>4</sup> волосяная сеть дураков: «Взгляните, господа, великолепная прискорбная сеть» — Не разваливайся, Джек, держись проездом через всё, а всё есть сплошь сон, одна видимость, одна вспышка, один печальный глаз, одна хрустальная светлая тайна, одно слово — Не шелохнись, чувак, возврати себе любовь к жизни и сойди с этой горы и просто *будь* — *будь* — будь бесконечными плодородиями единого разума бесконечности, ничего об этом не говори, не жалуйся, не критикуй, не хвали, не признавай, не остри, не пуляй звездочками мысли, просто *теки, теки*, будь собою всем, будь собою какой ты есть, это лишь то что есть всегда — Надежда это слово как снежный занос — Это великое Знание, это Пробуждение, это Пустотность — Так заткнись, живи, странствуй, ищи себе приключений, благословляй и не жалея — Сливы, слива, жуй свой чернослив — И был ты вечно, и будешь вечно, и все замороженные пинки твоей ноги о невинные дверцы буфета суть лишь Пустота притворившаяся человеком притворившимся не знающим Пустоты —

Я возвращаюсь в дом новым человеком.

Мне нужно лишь подождать 30 долгих дней а потом спуститься со скалы и вновь увидеть сладкую жизнь — зная что она ни сладка ни горька а просто она вот такая, и всё вот так вот —

Поэтому долгими днями я сижу в своем легком (полотняном) кресле лицом к Пустоте Хозомину, тишина нишкнет в моей хижинке, печка моя молчит, тарелки по-

сверкивают, мои дрова (старый хворост кой есть форма воды и пульпы, каким разжигаю я индейские костерки в печке, чтобы наскоро приготовить поесть) мои дрова лежат в углу кучей и змеятся, консервы ждут, когда я их открою, мои старые растрескавшиеся башмаки плачут, сковородки клонятся друг на друга, тряпки висят, всякие шмотки мои тихо сидят по всей комнате, глаза у меня болят, ветер налетает порывами и лупит в окна и верхние ставни, свет в гаснущем дне оттеняет и темносинит Хозо-мин (выявляя его проблеск срединно-красного) и мне ничего не остается только ждать — и дышать (а дышать трудно в разреженном высокогорном воздухе с моими сопатыми синусами Западного Побережья) — ждать, дышать, есть, спать, готовить, стирать, ходить, наблюдать, никаких лесных пожаров здесь не бывает — и грезить: «Что я стану делать когда доберусь до Фриско? Так ну первым делом найду себе в Чайна-тауне комнату» — но еще ближе и слаще я грежу о том, что стану делать в День Отъезда, в какой-то из свято чтимых дней начала сентября: «Спущусь по тропе, два часа, встречу Филя в лодке, доеду до Плотов Росса, переночую там, поболтаю в кухне, утром пораньше выеду на Лодке Дьябло, прямо от маленького пирса (поздоровуюсь с Уолтом), доеду напрямиком до Марблмаунта, получу зарплату, расквитаюсь с долгами, куплю бутылку вина и разопью ее днем у Скаджита, а наутро уеду в Сиэтл» — и дальше, до самого Фриско, потом в ЛА, потом Ногалес, потом Гвадалахара, потом Мехико — И по-прежнему Пустота неподвижна и не пошелохнется —

Но я сам буду Пустотой, двигаясь не пошелохнувшись.

### 3

Ай, и я вспоминаю сладкие дни дома которых не ценил когда они у меня были — целые полдни еще когда мне было 15, 16, они означали крекеры «Братьев Риц» и арахисовое масло и молоко, за старым круглым кухонным сто-

лом, и шахматные задачи или мною же придуманные игры в бейсбол, пока оранжевое солнце лоуэллского октября наискось проникает сквозь шторы веранды и кухни и падает ленивым пыльным столбом и в нем мой кот обычно лижет переднюю лапку ляляп тигриным язычком и зубцом хвостика, все подвергнуто и прах убран, Господи — поэтому сейчас в своих грязных драных одеждах я бродяжу в Высоких Каскадах и вместо кухни у меня лишь вот эта сумасшедшая битая-перебитая печка с потрескавшейся ржавчиной на трубе — подбитой, ага, на потолке старой мешковиной, чтобы не впускать крыс ночи — давние дни когда я мог просто подойти и поцеловать маму либо отца и сказать «Вы мне нравитесь потому что однажды я стану старым бродягой в опустошении и буду совсем один и печален» — О Хозомин, скалы его блещут под опускающимся солнцем, неприступные крепостные парапеты возвышаются как Шекспир над миром и на многие мили вокруг ни единая тварь не знает имен ни Шекспира, ни Хозомина, ни моего —

Конец давнего дня дома, и даже недавно в Северной Каролине когда, чтобы вызвать в памяти детство, я и впрямь ел «Ритц» и арахисовое масло и пил молоко в четыре, и играл в бейсбол у себя за столом, и школьники в исшарканных башмаках возвращались домой совсем как я, голодные (а я делал им особые Полубананы Джека всего лишь каких-то ничтожных полгода назад) — Но здесь на Опустошении ветер вихрится, опустошенно беспесенный, сотрясая стропила земли, порождая собою ночь — Тени облака гигантскими летучими мышами парят над горой.

Скоро темно, скоро дневные тарелки мои вымыты, еда съедена, жду сентября, жду нисхожденья в мир снова.

#### 4

Тем временем закаты безумное оранжевое дурачье неистовствует в сумраке, пока далеко на юге где мною предполагаются любящие объятия сеньорит, снежнорозовые

груды ждут у подножия мира, в городах серебряных лучей вообще — озеро такая твердая сковородка, серое, голубое, ожидающее на туманных доньях своих пока я проеду по ней в лодке Филадельфия — Гора Джек как всегда принимает свою награду облачком у высоколобого основания, вся его тысяча футбольных полей снега запутана и розова, этот единственный невообразимый ужасный снежный человек еще сидит на корточках окаменев на хребте — Золотой Рог вдали пока еще золотист посреди серого юго-востока — чудовищный горб Закуски нависает над озером — Угрюмые тучи чернеют дабы зажглись огнем кромки в той кузнице где куется ночь, спятившие горы маршируют к закату как пьяные кавалеры в Мессине когда Урсула была справедлива<sup>5</sup>, я бы поклялся что Хозомин задвигался б если б могли мы его к этому подвинуть но он проводит со мною ночь и скоро когда звезды дождем хлынут вниз по снежным полям он окажется на снежной верхушке своей гордыни весь черный и рыскающий к северу где (прямо над ним каждую ночь) Полярная Звезда вспыхивает пастельно-оранжевым, пастельно-зеленым, железно-оранжевым, железно-синим, сине-малахитовым там явные созвездные предзнаменованья ее грима какие можно взвесить на весах золотого мира —

Ветер, ветер —

И вот мой бедный изо всех сил старательный человеческий письменный стол за которым я сижу так часто днем, обратясь лицом к югу, бумаги и карандаши и кофейная чашка с побегам альпийской ели и диковинной высотной орхидеей вянущей за один день — Моя жвачка «Буковый орешек», кiset, пылинки, жалкое журнальное чтиво а больше и читать нечего, вид на юг на все те заснеженные величества — Ожидание долго.

На Хребте Голода  
палочки  
Пытаются вырасти



5

Вот только в ночь перед своим решением жить любя, я был унижен, оскорблен и повергнут в скорбь таким сном:

«И найди хороший бифштекс из вырезки!» – говорит Ма протягивая Дени Блэ деньги, она посылает нас в магазин купить чего-нибудь хорошего на ужин, к тому же вдруг решила полностью довериться Дени эти последние годы когда я стал таким модным эфемерным нерешительным существом которое проклинает богов спя в постели и бродит с непокрытой головой и дурной в серой тьме – Всё это в кухне, все уговорено, я ничего не отвечаю, мы отправляемся – В передней спальне у самой лестницы умирает Па, на своем смертном ложе и практически уже мертвый, именно вопреки *этому* Ма желает хорошего бифштекса, хочет возложить свою последнюю человеческую надежду на Дени, на некую решительную солидарность – Па худ, бледен, простыни его ложа белы, мне кажется он уже умер – Мы спускаемся в сумраке и как-то добираемся до мясной лавки в Бруклине посреди центральных улиц вокруг Флэтбуша – Там Роб Доннелли и остальная компашка, простоволосые и как бродяги на улице – Глаза Дена вспыхивают когда он видит возможность на всё забить и приколоться по маминым денежкам, в лавке он заказывает мясо но я вижу как он отслонивает сдачу и запихивает деньги в карман и устраивает как-то так чтобы отречься от *ее* уговора, *ее последнего* уговора – Она возложила на него свои надежды, от меня-то больше никакого толку – Мы как-то отваливаем отсюда и не возвращаемся домой к Ма а заруливаем на Речную Армию и та отправляется, досмотрев гонки быстроходных катеров, плыть вниз по течению в холодном круженье опасных вод – Катер, если б он был «длинным» мог бы запросто поднырнуть под самую сутолоку флотилии и выскочить на другой стороне и побить бы всех по времени но из-за неправильно короткого корпуса гонщик (мистер Дорогуш) жалуется что именно по этой причине его катер просто клюнул носом

перед толпой и застрял в ней и не смог двигаться дальше — большие плоты с чиновниками взяли это на заметку.

Я в ведущей бригаде. Армия стартует по течению, мы движемся к мостам и городам вниз. Вода холодна а течение крайне плохое но я плыву и выгребаю потихоньку. «Как я сюда попал?» думаю. «Что с маминим бифштексом? Что Дени Блё сделал с ее деньгами? Где он теперь сам? О у меня нет времени подумать!» Неожиданно с лужайки у церкви Св. Людовика Французского на берегу я слышу как ребята кричат мне: «Эй, твоя мать в психбольнице! Твоя мать уехала в психбольницу! У тебя отец умер!» и до меня доходит что произошло и все же, плывя и в Армии, я застрял колочусь в холодной воде, и остается лишь горевать в седом вынужденном ужасе утра, мучительно я ненавижу себя, мучительно слишком поздно и все же пока мне лучше все равно мне эфемерно и нереально и неспособно выправить мысли или даже горевать по-настоящему, по сути мне слишком по-дурацки чтоб на самом деле мучиться, короче говоря я не знаю что делаю и Армия мне говорит что делать а Дени Блё тоже сыграл мною в кегли, наконец-то, дабы сладко отомстить но главным образом дело просто в том что он решил стать прожженным жуликом и это его шанс —

...И даже хотя шафранное леденящее послание может прийти с солнечных ледовых шапок мира, О какими б одержимыми призраками придурками мы ни были, я добавляю приписку к длинному письму любви, которое пишу маме вот уже много недель.

Не отчаивайся, Ма, я буду о тебе заботиться, когда б ни понадобился — ты только покричи... Я вот тут, плыву по реке трудностей, но я умею плавать — Не думай даже ни минутки, что ты осталась одна.

Она за 3000 миль отсюда живет в кабале у гадкой родни.

Опустошение, опустошение, как смогу я когда-нибудь отплатить тебе?